

Человек между биологией и культурой

Р. Смит

На протяжении двадцатого века на Западе взгляды на роль биологического и культурного в природе человека резко расходились между собой. Смена мнений по этому вопросу напоминает колебания маятника от одного полюса к другому. Так, в 1900 году и ученые и широкая публика были убеждены в том, что сердцевина человеческой природы задана от рождения — в особенности, в той ее части, которая определяет индивидуальные и групповые различия. Но уже к 1930–40-м годам все большее число ученых разделяли мнение о подавляющем значении **среды** и верили в то, что разгадку человеческой природы даст **культура**. Агрессивная политика того времени (фашистские и националистические заявления о том, что ключ к социальным проблемам лежит во врожденных расовых характеристиках) только усиливала веру в важность культуры. В это же время политики в Советском Союзе делали акцент на **историческом происхождении**, гибкости и податливости человеческой природы. Вплоть до 1970-х годов большинство на Западе стояло на той точке зрения, что понимание человеческих действий невозможно без знания культуры и законов развития общества. Однако в наше время сложившийся консенсус нарушен. Появляется большое количество работ, в которых утверждается приоритет **биологии и наследственности** в понимании социума и индивидов.

Думается, спор между биологией (или наследственностью) и культурой (или средой) в своей основе ложен. Наша конкретная "природа" формируется в результате развития человека в специфической исторической "культуре". Тем не менее, спор продолжается, и различия во взглядах на значение каждого измерения остаются весьма реальными. Разница во взглядах связана с ценностными различиями, и полемика часто оказывается весьма эмоциональной. Именно поэтому полезно заглянуть в историю этих дебатов. Существует много ее аспектов — например, можно говорить об истории понятия интеллекта и его измерения — но я остановлюсь лишь на одном: на том, **как биологические категории привлекались для интерпретации феноменов культуры**.

Людям на рубеже XIX и XX веков казалось, что теория эволюции установила, наконец, преемственность между природой и человеком, между естественными науками и науками о человеке. Принцип преемственности сторонники теории эволюции всегда считали наиважнейшим, хотя ясности в том, как его применять, у них не было. К тому же, многие — в том числе из тех, кто разделял теорию эволюции — не думали, что преемственность между человеком и животными означает, что человека следует изучать наравне с другими частями природы, а науки о человеке — считать отраслью естественных наук.

Характерные для XIX века спекулятивные реконструкции анатомической, психологической и социальной эволюции человечества привели к тому, что в начале следующего столетия эволюционные идеи оказались скомпрометированы в глазах многих гуманитариев. Работы Дюркгейма в социологии, Малиновского в социальной антропологии и Соссюра в лингвистике касались современных структур и процессов и исключали эволюционное измерение. Однако на науки о человеке продолжали оказывать влияние по меньшей мере две магистральные идеи XIX столетия. Во-первых, удерживала свои позиции **вера в значение эмпирических методов**; Малиновский, к примеру, защищая идею основанной на полевых исследованиях антропологии, опирался на взгляды философа науки и позитивиста Эрнста Маха. Во-вторых, биологию и науки о человеке продолжала связывать **функционалистская установка** — т. е. объяснение через отношение частей к целому: например, интерпретация отдельных действий людей через их образ жизни в целом или их положение в обществе. Такая объяснительная схема примиряла широкие философские представления о целостности с конкретными эмпирическими исследованиями и поиском объективных методов.

К середине века, однако, господствующее мнение резко разделило природу и культуру, биологию и науки о человеке как по интеллектуальным, так и по моральным основаниям. Как писал в 1930-х годах архитектор неodarвинистского синтеза Федор Добжанский, *"некоторые биологи снова и снова ставят себя в смешное положение, навязывая такое решение социальных и политических проблем, которое основано на идее, что человек — это только животное. Какую опасность могут представлять такие ложные ключи к загадкам человека, показывают последствия всего одной ошибки — расовой теории"*[1]. Подобные замечания, однако, не остановили попыток доказать с опорой на эволюционную теорию именно ту идею, которую критиковал Добжанский. Все же, тезис, согласно которому науки о человеке — это отрасль биологии, вплоть до 1970-х годов не получал широкого распространения.

В середине века естественные науки и науки о человеке условно разделили свои полномочия: первые занимались **природой**, вторые — **культурой**. Сами эти категории, однако, вызвали вопросы. В самом деле: что такое "культура", если не "шапка", общий термин, в который включалось все то, что изучали гуманитарии и что не входило в естественные науки? Американский антрополог А.Л. Кребер (A.L. Kroeber, 1876–1960) в своем известном учебнике определил культуру как *"набор феноменов, которые неизменно возникают там и тогда, где и когда человек появляется в природе... и которые необходимо изучать в сравнении, с равных позиций и без предвзятости"*[2]. Однако эта формулировка, скорее, обозначала сферу исследования, нежели проясняла понятия. В 1952 году Кребер вместе с Клайдом Клуцхоном (Clyde Kluckhohn) предпринял смелую попытку дать обзор значений слова "культура", разделив культуру и индивидуальное поведение как предметы разноуровневых объяснений. Авторы пришли к обоснованному выводу, что, хотя само понятие необходимо для классификации и объяснения человеческой активности, общая теория культуры отсутствует. Было или нет понятие культуры достаточно четким, — оно находилось в согласии с господствующим мнением, что науки о природе и науки о человеке (или культуре) различны. Еще один антрополог из США, Эшли Монтегу (Ashley Montague), писал, что у человека *"нет инстинктов, потому что то, что он есть и чем стал, приобретено из культуры, из сотворенного им самим окружения, перенято у других людей"*[3].

В середине века акцент на культурном происхождении человеческой природы сохранялся, поскольку был связан с надеждами на улучшения в обществе с помощью "правильной" социальной политики. В этот период политику в таких странах как Нидерланды и Швеция определяли социал-демократы, задачей которых было попечение об общественном благосостоянии. В то же время страх перед биологическими объяснениями человеческих различий — наследие Третьего Рейха — заставил почти полностью замолчать теории об ином, не-культурном происхождении различий между людьми. В 1930-х годах в

Великобритании, например, евристические идеи были широко распространены среди специалистов; в числе выдающихся ученых, которые их поддерживали — статистик и биолог Рональд А. Фишер (Ronald A. Fisher), математик Пирсон (Pearson) и психолог Спирман (Spearman). На протяжении 1930-х годов эти идеи постепенно исчезают из публичного обсуждения. Когда позднее лидер Евристического общества К. П. Блэкер (C. P. Blacker) попытался вновь привлечь внимание к деятельности Общества, ему пришлось сделать все возможное, чтобы ограничить проблемы научного исследования наследственности от политических вопросов государственного контроля за ней. И все же, идея о врожденном характере человеческих способностей и биологическом фундаменте человеческой природы получала авторитетную поддержку, в частности, в работах Берта (Burt) и Айзенка (Eisenck) о биологической основе интеллекта и личности.

В конце 1960-х годов аргументы в пользу биологии вновь стали занимать воображение публики и проникли в науки и человеке. Исследователи черпали вдохновение в естественной истории и глубоко укоренившейся традиции сравнивать человека и животных — традиции, существовавшей еще до Дарвина и получившей подкрепление в его работах. Хотя в XIX веке изучение животных и растений стало академической дисциплиной, любители природы (а иногда и ученые) продолжали интересоваться традиционной естественной историей. Исследования животных и растений в естественной среде, а также изучение индивидуальности животных, в особенности домашних, стали необычайно популярны, а исследователи получали видимое удовольствие от сравнения повадок животных и поведения человека. Зоопарк и сад стали местом, где сошлись вместе интересы ученых и обществу. В 1940-е годы новая наука — **этология** — объединила естественную историю, с ее терпеливым изучением поведения животных в натуральных условиях, и университетскую лабораторную науку. Затем, в 1970-е годы группа ученых-эволюционистов выступила с идеей **социобиологии** — дисциплины, призвавшей соединить теорию естественного отбора, этологию и знание о человеке; они намеревались включить науки о человеке в биологию. Социобиологи считали, что единства знания, отсутствие которого в науках о человеке столь очевидно, можно достичь лишь проводя последовательно идею о единстве человека и эволюционирующей природы, — иными словами, **пересмысливая культуру с позиций биологии**.

Корни этологии уходили в период до начала Первой мировой войны. Хотя модель научной биологии тогда задавали лабораторные исследования, отдельные ученые и знатоки естественной истории стремились к менее аналитическому, более непосредственному знанию о живой природе. В Англии Джулиан Хаксли (Julian Huxley, 1887–1975), внук “бульдога” Дарвина, Томаса Генри Хаксли (Thomas Henry Huxley), провел ставшее впоследствии знаменитым полевое исследование поведения птиц. Оскар Хейнрот (Oscar Heinroth, 1871–1945), в 1920-х годах бывший директором Берлинского зоопарка, выступил с критикой самой идеи зоопарков и подчеркнул разницу между поведением животных в дикой природе и искусственно сформированным поведением в неволе. Хаксли и Хейнрот придавали главную ценность “естественному” поведению животных, что было чуждо, например, американскому бихевиоризму и сравнительной (зоо-)психологии. Желание познать “естественное животное” находило параллели в морали и эстетической доминанте общества, которое отдавало предпочтение **натуральному** перед **искусственным**.

Это противопоставление с особой силой зазвучало в индустриально-урбанистическую эпоху. Коллега Хейнрота Якоб фон Икскюль (Jakob J. von Uexkull, 1864–1944), директор Гамбургского зоопарка между 1925 и 1944 годами, ввел понятие *Umwelt* — мира, доступного сенсорным и моторным возможностям животного. Изучение животных он понимал как творческое воссоздание ученым их мира. Подобные же идеи развивали датчанин Николас Тинберген (Nikolaas Tinbergen, 1907–1988) и австриец Конрад Лоренц (Konrad Lorenz, 1903–1989). Они разработали строгие способы наблюдения за животными, не подозревающими о присутствии человека, просияли инстинкта и начали исследование наследственных моделей поведения. Деятельность Тинбергена в Англии, куда он переехал после заключения в концлагере во время войны (ему была предоставлена кафедра зоологии в Оксфордском университете), способствовала выделению этологии в самостоятельную дисциплину. Впоследствии она стала взаимодействовать с американской сравнительной психологией. Что касается Лоренца, то благодаря своим занимательным историям о животных (“Er redete mit dem Vieh, den Vögeln und den Fische”, 1949, в русском переводе — “Кольцо царя Соломона”), а также многолетним исследованиям серого гуся, — он приобрел широкую аудиторию по обе стороны Атлантического океана.

В карьере Лоренца отразилась моральная и эстетическая неоднозначность критики, которая была адресована современной цивилизации и упрекала ее в “неестественности”. Когда Лоренц сравнивал домашних животных с дикими и отмечал потерю у первых инстинктивной жизненной силы, это было комментарием к тому, что и он, и многие другие воспринимали как исчезновение из современной жизни “естественных” ценностей. Руководствуясь идеалистическими мотивами, разочаровавшись в индустриальной цивилизации и, возможно, на какое-то время поверив партийным ораторам, что немцы смогут вернуться к своим “естественным корням”, в 1930-х годах Лоренц вступил в нацистскую партию. В 1940 году он получил место в университете Кенигсберга. В своих тогдашних статьях он связывал биологические теории с нацистскими интересами, в частности, со стремлением очистить *Volk* (народ) от дегенеративных тенденций. Он проводил параллель между “чистой природой” и идеалами “очищения”, которые часть интеллектуалов связывала с национал-социализмом. Его работы, однако, не получили партийной поддержки. В 1939 году Лоренц сравнивал одомашнивание животных с вредным влиянием жизни в городах, а в 1963 году — интерпретировал политическую активность в терминах нарушений агрессивных инстинктов. “Агрессия, — писал он, — это такой же инстинкт, как и все остальные, и в естественных условиях так же, как и они, служит сохранению жизни и вида. У человека, который собственным трудом слишком быстро изменил условия своей жизни, агрессивный инстинкт часто приводит к губительным последствиям... Этология знает теперь так много о естественной истории агрессивности, что уже позволительно говорить о причинах некоторых нарушений этого инстинкта у человека” [4].

За книгой Лоренца об агрессии последовала серия исследований таких авторов, как Роберт Ардри (Robert Ardrey), Десмонд Моррис (Desmond Morris), а также более осторожных в выводах замечательных ученых — Робина Фокса (Robin Fox) и Лионеля Тайгера (Lionel Tiger). Все они находили у животных человеческие черты, такие как агрессивность, территориальные притязания, способность к выражению эмоций. Эти работы собрали свою аудиторию, — невзирая на критику, а может быть, как раз из-за нее: со стороны гуманитариев, которые подчеркивали значение социальных и политических детерминант человеческих действий и опыта. Отыскать основу для человеческих действий за пределами политики, дать прочный фундамент человеческой природе, — это стремление, и без того привлекательное, нашло поддержку в риторике об **объективном биологическом наблюдении**. Странники новой, биологической, антропологии обвинили своих критиков в бездумном отвержении биологического измерения и назвали их “левые” симпатии в политике примитивным “коленным рефлексом”. Критики, в свою очередь, заявляли, что биологический детерминизм на руку тем, кто хочет оправдать существующее

политическое неравенство и социальную несправедливость. Эта полемика проходила одновременно с дебатами о коэффициенте интеллекта и о наследственности, и многие ученые участвовали и в той, и в другой дискуссии.

Именно на этом фоне появилась книга Эдварда О. Уильсона "Социобиология: новый синтез" (Wilson E.O. Sociobiology: The New Synthesis, 1975), за которой последовала полемическая, предназначенная для широкой аудитории работа "О человеческой природе" ("On Human Nature", 1978). Уильсон — биолог из Гарвардского университета, специалист по социальной жизни муравьев — задался целью создать новую науку — **социобиологию**, которую он определил как "систематическое исследование биологической основы всех форм социального поведения, у всех организмов, включая человека". Амбиции Уильсона впечатляли: он собирался реформировать этику, гуманитарные и социальные науки, а также биологию человека, все это — на основе "подлинно эволюционистского объяснения человеческого поведения". Выбор термина "социобиология" ясно передавал его веру в то, что общественные отношения могут быть поняты биологически, иными словами, что в основе их лежат, по выражению самого Уильсона, стратегии "человеческого животного" на выживание. Он считал, что использование знания, полученного биологией, — одна из самых передовых стратегий, которые может предложить сама природа. "Наука, — писал он, — скоро сможет изучать происхождение и значение человеческих ценностей, лежащих в основании этических заповедей и большей части политической практики". В конечном счете, считал Уильсон, даже научному разуму, однако, придется столкнуться с ограничениями, накладываемыми нашей эволюционной наследственностью. Только она определяет "базовые правила человеческого поведения", — или, по-другому выражаясь, "существует предел, лежащий, может быть, ближе, чем нам дано осознать, за которым биологическая эволюция начнет поворачивать культурную эволюцию вспять" [5].

В своих публикациях Уильсон конкретизировал те способы, с помощью которых, как он полагал, на основе теории естественного отбора можно предсказывать человеческое поведение. К примеру, социобиологи объясняли запрет на инцест и стремление женщин выходить замуж за более богатого и знатного (или, по крайней мере, за равного) по положению и состоянию мужчину как составной элемент наследственной стратегии. Таковой они считали стратегию сообщества охотников и собирателей на избегание вредных последствий близкого скрещивания и увеличение способности к воспроизводству. Уильсон также сравнивал подобные современные сообщества с ранней стадией эволюции человечества. Он выбрал четыре категории поведения: агрессию, секс, альтруизм и религию, назвав их "элементарными", и предложил анализировать каждую как часть наследственной стратегии социального животного на выживание.

Подобно многим натуралистам и специалистам по общественным наукам в XIX веке, Уильсон считал, что приобретенное в эволюции знание, которое на современном языке он называл **знанием генетических стратегий**, лежит в основании всей науки и служит руководством к действию по общему благосостоянию.

"Гены держат культуру на поводке. Поводок этот довольно длинный, но он с неизбежностью будет сдерживать ценности в соответствии с их влиянием на генетический пул... Человеческое поведение — как и более глубоко лежащая способность эмоционального реагирования, которая нас побуждает и нами руководит — это циклическое устройство, посредством которого генетический материал человека был и будет сохраняем в неизменности. Доказать, что нравственность имеет более важное конечное назначение, невозможно" [6].

Уильсон со своими единомышленниками-социобиологами считали генетические стратегии самым важным "краеугольным основанием" человеческой природы и интерпретировали **нравственность** — как и культуру вообще — **только в ракурсе ее значения для эволюции**.

Для многих критиков социобиологии подобные высказывания были актами откровенного дисциплинарного империализма, более того, грубого сведения человеческой сущности к единственному "краеугольному" биологическому измерению. Так как Уильсон и другие социобиологи писали в том числе и для широкой аудитории, утверждая, что их наука может оказаться важной для принятия политических решений, то и полемика была острой. Критики связывали социобиологию с реакцией против левого либерализма 1960-х годов, который проповедовал свободный выбор образа жизни, а также с ростом в США влияния "новых правых", веривших в то, что крайний индивидуализм — это "естественное", нормальное состояние.

Одними из самых горячих противников Уильсона были **феминисты** — традиционные взгляды на **гендер** (gender), против которых они боролись, всегда опирались на привлекательность, которой для многих обладало все "природное". Консервативные авторы, напротив, были рады найти в социобиологии поддержку "естественности" таких феноменов, как гетеросексуальность, семья, собственность, стремление к материальному вознаграждению и идентификация с непосредственным окружением. Биологический взгляд, объяснявший происхождение этих ценностей природной эволюцией, был для этих авторов весьма привлекательным. Те же, кто стоял на либеральных или левых политических позициях, видели в нем отрицание социально-исторического характера человеческих ценностей, деятельности и институтов. Мнения биологов о работах Уильсона разделились: лишь немногие пытались рассуждать об общих вопросах, сосредоточась вместо этого на исследовании деталей поведения животных, динамики популяций и "работы" естественного отбора. Социобиология и биополитика, тем временем, выделились в самостоятельные дисциплины.

Нигде взгляды на человеческую природу и исследования животных не были так близки между собой, как в приматологии — дисциплине, изучающей обезьян и приматов. Интерес к этим "зеркальным отражениям" человека уходил в глубь прошлого, в период, предшествующий классификациям Бюффона и Линнея. Этот интерес проявился в дискуссии об эволюции — сам Дарвин был усердным посетителем Лондонского зоопарка — и отразился в экспериментах с шимпанзе, проведенных Кёлером (Koeherl) на Тенерифе, и работах с шимпанзе Роберта М. Йеркса (Robert M. Yerkes), нацеленных на выяснение природы интеллекта. Подобно различию между этологией и сравнительной психологией, эти работы отличались друг от друга тем, чему в них отдавался приоритет — полевым или лабораторным исследованиям. Работы Йеркса, руководившего Лабораторией биологии приматов в Йеле (она была основана в 1930 году во Флориде как Лаборатория сравнительной психологии), способствовали возникновению в США интереса к обучению приматов. Основное внимание уделялось языку как критической способности, отличающей людей от приматов, точнее, тому, можно ли научить шимпанзе говорить. Одна обезьяна шимпанзе, Уошу, которая была в центре начатого в 1966 году в университете Невады проекта, стала знаменитостью. Хотя она могла использовать знаки, все упорные попытки научить ее естественному языку к успеху не привели, — что, казалось, подтверждало наличие дистанции

между человеком и животными. В других работах сравнивалось развитие молодого шимпанзе и ребенка; исследователи так и не пришли к согласию по поводу результатов, и тема в целом породила разные точки зрения.

За этим последовали ставшие широко известными работы Джейн Гудел (Jane Goodall) — исследовательницы, которая проводила много времени с шимпанзе в их естественной среде обитания в Гомби (Танзания). Ее работы заставили усомниться в интеллектуальной ценности и этической правомерности лабораторных исследований приматов. Джейн Гудел проложила дорогу целому ряду женщин-исследовательниц, — таких, как Дайн Фосси (Dian Fossey), которая жила в стаде центрально-африканских горилл и погибла от руки браконьеров. В их работах поддержку получили ценности природы, отличные от тех, что преобладали в экспериментально-механистической науке. После этих работ стало уже невозможным говорить, что, например, исследование Йеркса с соавтором, проведенное в 1935 году, было *"чисто натуралистическим изучением животных в неволе"* [7]. Для исследовательниц, которые с сочувствием вошли в мир наших ближайших животных "родственников", полевая работа была образом жизни. Она стала ярким примером **природоохранного сознания**, отмеченного ностальгией по тому, в чем люди видели свое собственное утерянное "естественное состояние".

Культурный и политический контекст исследований приматов стал предметом внимания американского "феминистского" историка науки Донны Харауэй (Donna Haraway). В "Образах приматов" ("Primate Visions", 1989) она утверждала, что эти исследования отражают взгляды самих ученых на человеческую природу. Харауэй сравнила отчеты о сексуальной и семейной жизни приматов, которые включали описания мужского доминирования, с современными представлениями о гендерной идентичности и гендерных ролях. Ее работа продолжила вызов, который в 1970-е годы был брошен идее о том, что гендерные различия — "естественны". В то время это было основным руслом критики биологической точки зрения на человека. В самом деле: слово "гендер", значение которого отличается от значения слова "пол", было специально введено с целью подчеркнуть: то, что традиция приписывала полу, биологии, может и должно быть описано без этих понятий. Книга Харауэй анализировала, каким образом знание, которое, на первый взгляд, черпается из природы, на деле производится в социальных отношениях и лишь опосредовано ссылками на природу. Феминисты, однако, по вопросу о природе и культуре разделились: были такие, кто подчеркивал сильные стороны женщины, так как верил в ее "естественную" близость природе, отражающуюся в ее заботе о детях. Другие с подозрением относились к любому утверждению о "естественном" и предлагали вместо этого искать основу для эмансипации женщин в свободе выбора — включая выбор сексуальной идентичности.

Начиная с 1970-х годов **гендерная парадигма** (иными словами, точка зрения, отдающая первенство гендеру как структурному понятию) повлияла на многие аспекты наук о человеке, включая описания поведения животных в этологии и исходящую из психоанализа критику стереотипов "мужского" и "женского" в языке и истории науки. Стало невозможным писать о "человеческой природе" вообще, не задаваясь вопросом о мужчине и женщине. Участники этих дебатов разделились на тех, кто искал ответа в мире природы, в репродуктивной биологии и тех, кто утверждал, что все считающееся "данным", "природным" — на деле сконструировано человеком. В этих обстоятельствах значительный интерес вызывали **биология, культура и история сексуальности**, которые стали предметом первостепенного политического внимания феминистов, а также вопрос о происхождении и характере различий между людьми.

Некоторые из наиболее провокационных аргументов были предложены французскими феминистками. В середине 1970-х годов философ и психоаналитик Люси Иригари (Lucy Irigaray), бывшая в то время коллегой Лакана, задалась вопросом: не обусловлены ли наши представления о "феминности" тем языком, на котором мы говорим? Если так, утверждала она, то возможно, изменив точку зрения в языке на "женскую", пересмотреть данные представления; это демистифицировало бы "феминное" и сделало бы именно его, а не "маскулинное", точкой отсчета в речи. Идею подхватили многие авторы, увидевшие в нем перспективу для переосмысления в свете нового "гендерного сознания" академических дисциплин — таких, например, как литературный критицизм. Одна французская феминистка, Элен Сиксу (Helene Cixous), по этому поводу заметила, что *"никто больше не может говорить о "женщине" или "мужчине" без того, чтобы не оказаться в идеологическом театре, где умножение репрезентаций, образов, отражений, мифов, идентификаций трансформирует, деформирует и переделывает все концептуализации до самого основания"* [8]. Было решено, что "мужчина" и "женщина" — это культурные конструкции и что такой точки зрения, которая обеспечивала бы независимый взгляд на вещи, не существует.

Биологические психологи и надеялись заменить упомянутый Сиксу "театр" отражений ясными истинами о человеческой природе. Преследуя к тому же и просветительские цели, они хотели получить такое знание, какое могло бы дать основу для создания будущего человека. Роберт М.Йеркс, создавая лабораторную колонию шимпанзе, разделял те же ценности, что и его современники, исследовавшие поведение и сообщество с целью предсказывать и контролировать человеческую природу. *"Особенностью нашего плана использовать шимпанзе как экспериментальное животное, — признавался он, — всегда была задача сделать его понятным и поддающимся научному определению, а не пытаться сохранить его естественные характеристики. Мы верили, что нужно сделать из животного объект лабораторных исследований, настолько близкий к идеальному, насколько это практически осуществимо. С этим была связана надежда на то, что потенциальный успех послужит для демонстрации возможностей пересоздания человеком самого себя на основе общепринятого идеала"* [9].

Это замечательное утверждение. Из него становится очевидным, во-первых, что в 1943 году шимпанзе как дикое животное Йеркса не интересовало. От господствующей тогда веры в то, что природа существует для **использования** ее человеком, было еще далеко до идеи конца века: что **природа — это исток, который нужно охранять**. Во-вторых, Йеркс верил в то, что вся наука в целом служит улучшению жизни, он не проводил различия между "чистой" и "прикладной" наукой. В-третьих, проект предполагал аналогии между лабораторным шимпанзе и "домашними" мужчиной и женщиной. В том мире, в котором жил Йеркс, каждый вид был наделен рядом естественных особенностей, знание которых могло помочь изменить характеристики вида. В-четвертых, Йеркс упоминал социальный феномен, "общепринятый идеал", который затем не рассматривал. Он принимал как данное ту моральную и политическую культуру, в которой такой идеал приобретает свои очертания. Ему было трудно предположить, что знание этой культуры для нас может быть более необходимо, чем знание шимпанзе. Он брал идеалы из культуры, в которой жил, и проецировал их на мир приматов, а затем использовал знание о животных для описания человеческой природы. Знание и ценность, приписываемые гендерным ролям, агрессивности и соревновательности, замкнулись в некий неразрывный круг. Но Йеркс и другие исследователи продолжали верить в то, что изучают природу.

В западной культуре эпитет "естественный" продолжает оставаться связанным с политическими ценностями вопреки критикам, призывающим анализировать "материальные интересы" и "отношения доминантности в сознании", а также "*видеть в доминации производное от теории, а не природы*" [10]. Идеал эпохи Просвещения — показать человека "таким, какой он на самом деле", узнать нечто путем сравнения цивилизации с воображаемым природным состоянием — в биологии конца XX века возродился в преображенном виде. Но и исторические представления о человечестве, в которых Вико и Гердер изображали человечество как само-рефлексирующее создание человеческого духа, также возродились в науках о человеке конца XX века.

Те из психологов, кто биологами не были, заявляли, что возможен иной взгляд на дискуссию о природном и культурном в человеке: взгляд, который позволил бы обогатить полемику и, возможно, даже найти решение. Они имели в виду **кросс-культурную психологию**, эмпирическое изучение *констант* в психике разных людей. Вера в универсальные константы человеческой природы была широко распространенной, — на ней основывались, например, антропологические экскурсии Фрейда и Юнга, — но, чтобы доказать существование таких констант, нужна была немалая методологическая изобретательность. В 1970-е годы утвердилось мнение о том, что существуют константы цветового восприятия, памяти и т.п. Утверждалось, что эти элементы являются общими для всех людей, а следовательно — частью **универсальной человеческой природы**.

Но, возражали теоретики культуры, даже если это так, ссылки на абстрактные психологические константы дают очень мало, поскольку свое выражение они получают лишь на языке какой-либо *конкретной* культуры. При таком подходе понять человеческую психологию — значит понять, как человек становится фокусом, в котором сходятся различные обозначения, узнать, в каких терминах, с помощью каких символических систем — будь то психологические, биологические, политические или религиозные системы — дается его описание. Критики сравнения человека с животными всегда подчеркивали тот факт, что человек пользуется языком; в науках о человеке большое значение придавалось теориям приобретения и употребления языка — таких, как теории Выготского и Лакана. Исследователи заключили, что **даже если у человека есть какие-то биологические константы, все равно в каждом отдельном случае мы имеем дело с конкретными людьми, чья природа получает выражение только через определенные культурные формы**.

Перевод с английского И.Е. Сироткиной

<http://www.ethology.ru/library/?id=38>